



ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ
(1939 — 2021)

ОСМЕЛИВШИЙСЯ БЫТЬ

Сегодня нам предстоит трудный разговор, ведь мы будем говорить о Толстом. Как сто лет назад, сегодня мы в центре мира. И не обманешь себя светом и покоем торжеств. В Астане опять встает то мучительное утро...

Взглядов, как всегда в России, два. Можно увидеть всегдашнее толкучее любопытство прессы, выслеживающей каждое движение Софьи Андреевны и родных (завтра на первую полосу «Комсомолки» или «Коммерсанта»), беспокойное сновидение фото- и кинокорреспондентов, ищущих эффектного кадра (в утренний выпуск РЕН ТВ, НТВ, СТС), улыбающиеся лица телеграфистов, отпрививших из Астаны за дни болезни Льва Николаевича тысячу с лишним телеграмм и торопившихся время, чтобы всё кончилось.

А можно и нужно увидеть более дорогое: как и всегда и в суетной и усталой душе в час смерти Толстого совершался высокий прележущий акт, и смерть его

стала новилась последним уроком русскому сердцу.

Сначала только лихорадочная телеграмма.

7-е ноября. 5.53. Николай Эфрос «Русским ведомостям»: Скончался.

5.55. Три телеграммы ротмистра Савицкого генералу Львову, корпусу жандармов и охранному отделению: Скончался.

6 часов. Борис Брио «Русскому слову»: Скончался.

Спешит господь: кто первый? Пока стук Ильи Львовича в окно, где заперта дверь, откроется форточка, и Александр Борисович Гольденвейзер скажет, задышав от слез, эту роковую новость всем, кто бодрствовал в эту ночь, и телеграммы пойдут стеной теперь уже с неопределенным временем смерти — 6 часов пять минут утра.

А потом и бегущие вчерашние журналы (добрый Душан Мухоморович считал их 271) словно оступятся и будто впервые

увидят ст повское утро, потому что это будет первое утро без него.

К к это пронзительно з пи-с но Борисом Брио в его второй телегр мме «Русскому слову» уже в 7.20 утр : «Дверь домик открыл сь и з крыл сь з Ильёй, и н несколько минут ст ло тихо, тихо. Только н линии пронзительно свистел п ровоз отходящего тов рного поезд . Н ст ндии смятение. Когд в ш корреспондент первый под л срочную телегр мму о кончине, у телегр -фист з тряслись руки: «Я не могу», — ск з л он, з дых ясь». Простим это честолюбивое «когда я первым под л телегр мму», потому что мы видели, к к уже торопились Эфрос и С вицкий. Простим з этого русского телегр фист , который уже столько пропустил через себя телегр мм, тут тоже словно впервые остро понял: больше Толстого нет.

К жется, оно и сейч с стоит, это утро. Этот тум н, это окно, к которому приков ны взоры бодрствующих и н улице говорящих шёпотом людей, этот пош тнувшийся от ожид емой и неожиданной вести Илья Львович, з которым з кроется дверь под пронзительный свисток п ровоз , н который все с уж сом оглянут-ся, к к н неуместный.

(К к дорого и почему-то особенно в жно, что это был именно Илья Львович, чья ветвь толстовского род длится теперь в России. Пр внуки его Илья Ильич и Вл димир Ильич сегодня с н ми, и мне особенно трудно говорить

при них, к к пятьдесят лет н з д было трудно говорить Леониду Леонову тоже перед Ильёй Ильичом и Вл димиром Ильичом — детьми Ильи Львович . К к тут не ск жешь: к кое чудо — жизнь! Через поколение — зерк ло имён и покойное мерное течение толстовской, удержив ющей Россию крови).

А вскоре телегр ммы уже торопились удерж ть в н шей п мяти последние толстовские слов . Эфрос перед ёт их, к к «прошу помнить, что н свете много людей, вы хлопчете об одном Лье». А Алекс ндр Львовн н -пишет потом, что он позв л сын Сергея и ск з л уже рвущимися слов ми, которые з пис л Душ н М ковицкий: «Истин ... люблю много... все они». А с м Сергей услыш л гл внейшее: «Всё проявления. Хв тит проявлений». Мы немедленно поймём эти слов , к к только вспомним, к к мы любим в людях и в себе проявления т -л нт , ум , д р , религиозности. А он всю жизнь хотел быть и теперь уходил к Богу быть, не проявляться.

А д льше уже б г жный в -гон для гроб , тысячи людей н обочине вдоль железной дороги и тысячи в Ясной — проводить н кр й З к з , где он хотел лечь, где ст рший бр т Николеньк з рыл зелёную п лочку мур вейного бр тств с рецептом всеобщего сч стья. Д льше бессмертие. Т кое же беспокойное, к к и вся его жизнь. Н з втр Герх рт Г -уптм н н зовёт его велич йшим

христианином, Морис Метерлинк — величайшим теистом. Вспомнивший об этом в своём «Слове» пятидесятилетие смерти Льва Николаевича Леонид Леоновский жет, что единственно верное тут — эпитет «величайший». Извне о нём скажут Бернгард Шоу и Генрик Ибсен, Анатоль Франс и Ромен Роллан, и слов этих можно будет написать в истории человечества, потому что они будут свидетельством не об одной частной жизни. Гений скажут о гении. Последние о последнем в высоком ряду, как и неписаных глупых и всегда существующих клещики. Великой литературы, определяющей миропонимание и родов, предстеляющей перед Богом и миром сдвиг человеческого духа.

Может быть, это и объяснит нам, почему бодрствуют журналы, почему церковь шлёт нам полную статью епископов, почему оптинский старец Варсонофий и стойчиво и иронично стучится у двери больного и его не пускает дочь Льва Николаевича. Почему не спят старцы — старец повский священник Григорий и второй священник местной церкви Перлов. Старший хочет служить молебны о здоровье больного, потому что для него всякий больной — дитя Божье, младший уже знает, что Определения Синода зря не принимаются, и отключается от молебны с митрой и удерживает Григорийского.

Мир встал перед вопросом, которых ещё не задвинул, и перед

личностью, которую я поштал его и к тому, покойно механические и уже будто и всегда иписанные концы. И шему с удовольствием был и несён удар, от которого мы и сейчас не оправився. У нас готовы модели восприятия и все случаи жизни. Мы всегда знаем, как повести себя перед вызовами обстоятельств. А тут спешим.

И сейчас ещё мы по-прежнему не очень можем упориться с Толстым и торопимся сослаться на него только в великие художники, прописать по классической литературе, оставив за ним «Детство» и «Козьмов», «Войну и мир» и «Анну Каренину», «Воскресение» и «Ходжа-Мурта», он не ссылается и не прописывается. Мы приобщаем молодое «Утро помещика», «Хозяин и работник» и «Смерть Ивана Ильича», «Крейцеров соната» и «Два гуся», «Живой труп» и «Власть тьмы», ему и это шире тесно. Мы слышим его и родные рассказы «Чем люди живы» и детскую хрестоматию с бедовым «Филипком», он выше и дельнее. Мы возвращаемся к совершенному и чуждым жизни, к человеческой зрелости, и читаем внучкам «Три медведя» или «Лев и собачка», и всё-таки не обнимем всего Толстого.

Не поэтому, вернее, не только поэтому несут его и руки и не спит Россия, ожидая утренних бюллетеней о его здоровье. Не поэтому мечется Варсонофий и заседает ночью Священный Синод, чтобы решить вопрос с отпеванием, и

реш ет: не отпев ть. А н род поёт и поёт «Вечную п мять» прямо с ст повского утр , с дороги в Ясную до Петербург , где поёт эту «Вечную п мять» Невский проспект у переполненной рмянской церкви, котор я служит п нихиду седьмого и восьмого ноября.

Конечно, здесь и «Три медведя», и «Детство», и «Войн и мир», и «Смерть Ив н Ильич » — вся вмещённ я им человеческ я жизнь от рождеств до успения, вся русск я художественн я Вселенн я, которую он обнял легко и полно, словно был не только к ждым ребёнком и ст риком России, но её репъём при дороге и Холстомером, её стр д ющей землёй и устерлицким небом. Он подлинно был всей Россией, т к что проведи перепись н селения его героев от Госуд ря, н которого, погиб я от любви, смотрит Никол й Ростов, до бедного Жилин , который, теряя последние силы, бежит из чеченского плен к своим: «Бр тцы! Бр тцы!» — и н д ним з хлёбыв ется слез ми м льчик Витьк Аст фьев в сибирской Овсянке, до безымянного к з к , который понужд ет пленного фр нцуз идти смущённо-делик тным « лё, лё», — и мы увидим всю н шу милую Родину в её лучшем и худшем. Просто всю. И ост нья от н с н земле одно его творчество, историки и рхеологи восст новят Россию до былинки, и он оживёт и будет ре льнее своих воскресителей.

Все у него живы, и никто не осуждён и не р зобл чён: ни

Поздньшев, ни Анн , ни Вронский, ни несч стный князь Серпуховской из «Холстомер », который в смерти хуже своего бедного пегого мерин , ни сослуживцы Ив н Ильич , извлек ющие из сообщения о смерти тов рищ только выгоды и повышения. К жется, он только глядел, к к велик и м л человек, к к несч стен, к к свят и порочен. А они с ми жили в нём единственной жизнью и были им. И нет у него ни одного «типического» обр з , они все с ми по себе живые, подлинные, единственные, р внопр вные жители Отечеств , которых можно н йти по простой п спортивной прописке. Н йти их с мих, не их книжное отр жение. И со сч стливым уж сом понять, что это не Пьер Безухов, он, он, Лев Никол евич, кричит в звёздное небо потрясённым сердцем: «И всё это во мне. И всё это моё. И всё это я».

Подлинно он был всем и хотел ск з ть это всё, смущ я н с слишком простой философией, потому что стоял при н ч ле мир , когд сложность ещё не был выдум н , чтобы отговориться от Бог .

И всё-т ки, всё-т ки н род провож л «вечной п мятью» не эту художественную Вселенную. К к ведь и к Пушкинскому дому н Мойке в последний ч с поэт н род стек лся рекой, и тоже, когд бы тело не вывезли т йно, стоял бы стеной до с мого Мих йловского не в бл год рность поэтическому гению, потому что чувствов л, что он (к ждый

человек) тут, в этих смертях, рождается к к н род. Что и он тут к с ется стр шной и сп сительной т йны своего небесного родств . И тоже во внезапном оз рении н минуту видит целое и готов потрясённо ск з ть с Пьером: «И всё это моё, и всё это я». Они об были — к ждый человек, и поле, и метель, и утро. Они были *жизнь* и т инственно содержат всех н с. Без них мы были бы немы. Они н зв ли н с перед Богом, и мы ск з ли «я» и тоже ст ли *быть*.

Я понимаю, что говорю что-то тёмное. Но всё хочу понять эту вст вшую вдоль железнодорожной колеи Россию не н простых полях соци льного протест , любовьств , бл год рности пис телю, к к это привычно объяснялось, в существе своём. Если не только художественн я р бот Толстого собр л тогд Россию, то что ещё? А вот, к жется, *жизнь* и собр л ! Её мгновенн я зримость, её н минуту открывш яся полнот , её обычно з слонённое бытом «я».

Толстой не пис л, он — был! Хочется и стр шно ск з ть: он был Сущий. Он чувствовал, к к вороч ется в нём Истин , которой од рил и обременил его Бог, и торопился ск з ть её словом и бытом, всем своим существованием. Мы унизили это слово, говоря о потерявшемся человеке, что он не живёт, существует, тогд к к в основе этого слов и т ится суть, существо, Христос, ск з вший о себе: «Я есмь Сущий».

Вот мы неизбежно и вышли к к с мой р нящей теме, к к мно преткновения, который всё ни к к с дороги не своротим, чтобы увидеть Толстого в человеческой ясности, не спут нного пелен ми м лых человеческих институтов, которыми мы подменяли жизнь.

Я дум ю, что с мые зоркие чит тели уже по «Войне и миру», по «Анне К рениной», по их прорыв ющейся в реч х героев прямой философии, в спор х ли Андрея Болконского с Пьером или Левин с Облонским, т м и в долгих простосердечных отступлениях с мого втор уже увидели неизбежность его уход из художественного дел ния. Д и р зве это было то художественное, что сегодня, ведь и это был *непрерывная мысль*. Вон он к к о своей «К рениной» говорит: «Если близорукие критики дум ют, что я хотел описыв ть только то, к к обед ет Облонский и к кие плечи у К рениной, то они ошиб ются. Во всём, почти во всём, что пис л, мною руководил потребность *собрания мыслей*, сцеплённых между собой для выр жения себя. С мо же сцепление сост влено не мыслью, чем-то другим». И вот з этим-то другим он и должен был устремиться.

Вслуш йтесь в ж ркую, сбивчивую, прыг ющую мысль Оленин в «К з к х»: «Отчего я сч стлив и з чем я жил прежде?.. К к я был требов телен для себя, к к придумыв л и ничего не дел л себе, кроме стыд и горя». И вдруг ему к к будто

открылся новый свет. «Сч стие — вот что, — ск з л он с мому себе, — сч стие в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человеке вложен потребность сч стия; ст ло быть, он з конн »... Он т к обр дов лся и взволнов лся, открыв эту, к к ему пок з лось, новую истину, что он вскочил и в нетерпении ст л иск ть, для кого бы ему скорее пожертвов ть собой, кому бы сдел ть добро, кого бы любить. «Ведь ничего для себя не нужно... отчего же не жить для других».

Посмотрите, к к дум ет Пьер. Н рочно говорю «посмотрите», потому что у Толстого видно всё — и с м я тонк я мысль всегд есть м терия, плоть, тело жизни: «В минуты гордости, когд он дум л о своём положении, ему к з лось, что он совсем другой, особенный от тех отст вных к - мергеров, которых он презир л прежде, что те были пошлые и глупые, довольные и успокоенные своим положением, « я и теперь всем недоволен, всё мне хочется сдел ть что-то для человечеств », — говорил он себе в минуты гордости. «А может быть, и все мои тов рищи, точно т к же, к к и я, бились, иск ли к кой-то новой, своей дороги в жизни, и т к же, к к я, силой обст новки, обществ , породы, тою стихийною силой, против которой не вл стен человек, были приведены туд же, куд и я», — говорил он себе в минуты скромности».

От этого уже совсем нед леко до того, чтобы больше не переодеваться в героев, не вл ствов ть

и д ними силою техники. «Все мы — уж с, к кие сочинители, — ск жет он Горькому. — Вот и я тоже, иногда пишешь и вдруг — ст нет ж лко кого-нибудь, возьмёшь и приб вишь ему черты получше, у другого — уб вишь, чтобы те, кто рядом с ним, не очень уж черны ст ли».

И тотч с же суровым тоном непреклонного судьи: «Вот поэтому я и говорю, что художество — ложь, обм н и произвол, и вредно людям. Пишешь не о том, что есть н стоящ я жизнь, к к он есть, о том, что ты дум ешь о жизни, ты с м. Кому же полезно зн ть, к к я вижу, почему интересно это, з чем нужно?»

И он з говорит *сам*. И р зом всё, что прощ лось героям, не простится ему. И мир з торопится вернуть его к письменному столу. Р зве один Тургенев в предсмертном своём письме угов рив л его вернуться к художественному, не мучить людей своими жестокими вопрош ниями о смысле к ждого ш г ? Всякое уже узн вшее его художественное могущество сердце подт лжив ло его к этому и, верно, пок зыв ло в пример Фёдор Мих йлович Достоевского, который и более мучительные вопросы умел р зд ть героям, и пустить их биться н д ними до отч яния и убийств .

Но для Толстого это уже было бы лук вством, словно отд нн я герою мысль, д же до последней нитки своя, уже определится по художественному ведомству и потеряет необходимую убедительность. Одр жды

т к почувствованный и принятый мир («И всё это моё, и всё это я») вдруг обн ружив л для него свою стр шную з соренность бытом и привычкой, н копленными и утвердившимися з век з блуждениями. И он ощутил этот «сор» к к свою личную дос ду, духовное оскорбление и уже не мог ост новиться н пути ревизии жизни и человек . И первым, смутив близких, отложив перо, вернулся к н ч льной простоте, чтобы коснуться истоков жизни — п х л, т ч л с поги, р бот л н голоде, уч ствов л в переписи с мых тёмных углов Москвы. И был сч стлив, потому что человек обяз н быть сч стливым, к к быть чистоплотным, — ср внение, которое з пис л з ним А.Ф.Кони.

Ну, это бы ещё простили. Пошутили бы: «В ше сиятельство, п х ть под но», снисходительно улыбнулись и простили — «преувеличив ет ст ричок», к к, ж дно перехв ть я котлетку в ст нционном буфете после гр фских постных щей, посмеётся ряженный толстовец в воспомин ниях Горького. Много их тогд родилось, этих лжепростецов, жёстко опи с нных Буниным и А.Жиркевичем, н помнившим, что в одно только лето 1890 год этого н род , по слову Софии Андреевны, «дряни и тунеядцев», перебыв л в Ясной 260 человек. К к они безж лостно рв ли его время, с мые лук вые, живя з его счёт, пуск лись учить его бедности и толк ли к уходу.

Это было, может быть, с мым большим его стр д нием, и он, верно, р ныне всех дог д лся, что своим бунтом против н уки и художеств р звяз л руки злой лени — не н до ник кой учёности и новости, вон и их сиятельство говорит: не н до. Но грешно не призн ть, что в стоящем вдоль железной дороги н роде были и эти люди, и те, кого они привели своими р сск з ми о великом Льве, р знесёнными по всей России и тоже сост вившими обр з н родного з ступник , который видит к ждого русского человек и з ступ ется з него перед вл стью и непр вдой.

Он открыл все двери своего дом и сердц и ст л виден отовсюду, и мир вдруг увидел по нему, к к з мыслен был человек и к к успел з столетия повредить и иск зить в себе этот з мысел. Высокое христи нство, мон шество, святость постепенно суж ют внешнюю человеческую природу, отсе к я в ней «лишнее», к к в хорошей скульптуре. Но это «лишнее», к к исходный м тери л, никуда не дев ется в обычном человеке, и он, стыдясь себя или стр д я, прячет его, укоряя себя, что он, очевидно, духовно повреждён. Или дел ет жизнь мех нической, не муч я себя вопрос ми, просто внешне поступ я «к к все». Или, того хуже, н чин ет игр ть в духовную глубину и к тится в худший вид лжи — в ф рисейство.

И, чтобы вернуть миру целого человек , он пересмотрел догм ти ческое богословие, со смятением

переписал Евнгелие («волнуюсь, метусь духом и страдаю») и написал «Исповедь». И то, что человек обычно шепчет б тюшке на ухо, оглядываясь, чтобы, храни Бог, не услышал сосед, попросту взял и скзал всей России вслух. Так исповедовались общине первые христиане, зная, что исповедь совершается не перед б тюшкой и общиной, перед Богом, который и т к ведёт о тебе всё и только ждёт от тебя мужества. Конечно, он не мог не знать, что выходит с этими вопросами в путь последнее одиночество.

Прежде всего, перед семьёй и бытом. Он ведь, в отличие от своих коллег, живёт не в воздухе мысли, дом, и Софья Андреевна не для себя одной в дневнике этой поры пишет: «У Андрюши к шель и не сморк... У Миши прорезывается второй зубок». Он ему это несёт, он уже длеко, и у него уже ни пост, ни утренней молитвы, которые он в доверии к верующему народу однажды себе положил запривило, чтобы и эту сторону жизни проверить и духовную подлинность. И он не понимает: слв Богу, здоров, силён, всё есть, пиши новую «Войну и мир», он не Евнгелие руку поднимет. И он молится у себя перед прекрсным чудотворным Спсом в дльней своей комнате, «чтобы ЭТО прошло», и пишет в дневнике странные слова: «У нас стычки. Верно, это потому, что по-христиански жить стало. По-моему, прежде без христианства этого много лучше было...»

И скоро всякий человек перед этим толстовским зеркалом внезапно почувствовал, что и он окзлся не очень защищён, что то, что он предполагал только своей тайной, внезапно обнжено и нигде не спрячешься, — и доответь. Это у них, похоже, было домыслнее, и Александр Андреевич Толстой с улыбкой вспоминает, что у них дожил старая горничная бабушки Лев Николаевич, и, когда стало трудное время, Толстой подрил ей чсы с маятником, так он скоро вернул их: «Я человек стрый — лягу, думаю о божественном, не то, чтобы о себе. А они тут проклятые, как и рочно, и д головой знают себе всё одно: кто ты? что ты? кто ты? что ты?» Вот и он ко всем с этим: кто ты? что ты?

И думаю, что «русский ужас» был в нём не страх смерти вообще, страх, что вот это собрание «лишнего» и будет всё, и встанет перед Богом. И даже не это — это-то как раз было бы вполне по церкви. А он, как жется, первым увидел единственность каждого человека, «штучность» его, и в смятении спросил Бог: за чем тогда было создано это рождённое для счастья, как для чистоплотности, существо, чтобы сделать потом ничем.

Смотрите, как бьётся бедный Иван Ильич со школьным силлогизмом, когда он перестёт быть силлогизмом: «Кай — человек. Люди смертны, потому Кай смертен... То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно

спр ведливо; но он был не К й и не вообще человек, он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был В ня с м м', с п п', с Митей и Володей, с игрушк ми, кучером, с няней, потом с К тенькой, со всеми р достями, горестями, восторг ми детств , юности, молодости. Р зве для К я был тот з п х кож ного с полоск ми мячик , который т к любил В ня? Р зве К й целов л т к руку м тери и р зве для К я т к шуш л шёлк скл док пл тья м тери? Р зве он бунтов л з пирожки в Пр введении? Р зве К й т к был влюблён?»

Конечно, это н стойчивое выделение себя из ряд немедленно было сочтено с мон деянностью и гордыней. И не одними иронист - ми, но вот и любящим Горьким, который переводил « рз м сский уж с» т к узко — «ему ли, Толстому, умир ть. Весь мир, вся земля смотрит н него; из Кит я, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити, его душ для всех и н всегда ! Почему бы природе не сдел ть исключение из з кон своего и не д ть одному из людей физическое бессмертие, — почему? Он, конечно, слишком р ссудочен и умён для того, чтобы верить в чудо, но с другой стороны — он озорник и испыт тель, и, к к молодой рекрут, бешено буйствует со стр х и отч яния перед неведомой к з рмой».

А тут не Кит й и Индия, тут, в этом сопротивлении смерти были

полоски его детского мячик , м м и п п , «зелён я п лочк », горяч я Чечня и его Сев стополь. Тут было чудо единственности, которое можно было усовершенствов ть, очистить от общей лжи госуд рств , от пуг ющей человек дом церкви, очистить любовью, непротивлением, здоровым опрощением. Вернуть себя Богу не «обструт нным», не приведённым к общему зн мен телю, в полном свете любви и единственности. Только для этого н до было к ждый день жить к к первый и вместе последний, потому что школ любви бесконечн . Вспомнишь горячие монологи Оленин о сч стье жизни для других и устремления Пьер или Левин , когд , к з лось, всё додум но до формулы и н всегда решено, и только улыбнёшься, прочит в в его дневнике з год до смерти: «Пол г ть свои цели не в себе, Льве, в дел х любви и дел любви все всегда вне меня, в других. Я первый р з понял, что это можно. Буду учиться».

И тут, конечно, должны были з ш т ться все к зённые институты, и всё должно ок з ться ложью: рмия, н логи, госуд рство. Отчего смеётся Пьер, когд солд т не пуск ет его н другую сторону дороги: «Не пустил меня солд т. Пойм ли меня. В плену держ т меня. Кого меня? Меня — мою бессмертную душу!» Ведь это всё рвно, что з переть весь свет, не пустить небо. Это великое созн - ние единственности было путём освобождения в себе мест для

Бог, чтобы Он говорил в человеке весь и они с человеком были одно. И каждый его читатель в этой чсто несознв емой единственности увидел н ч л и концы своей безз щитности перед вопросом бытия. И открыться-то, к к он, не решился, но ринулся к нему р зделить последние вопросы, н которые т кой м стер русский человек, у которого, кроме последних вопросов, других-то, к жется, и нет.

Во всяком случае, тогда не было. Теперь мы свободны и от смих себя, и от вопросов, и не поверим ему, что н ш свобод — это, по его резкому слову, «пустот и безр зличие». Для него свобод был в другом: «Христос был свободен, Будд — тоже, и об приняли н себя грехи мир, добровольно пошли в плен земной жизни. А мы... Мы всё ищем свободы от обяз нностей к ближнему, тогда к к чувствов ние именно этих обяз нностей сделал н с людьми».

Вот н пис ли бы мы это н зн мени госуд рств, и Толстой первым вышел бы к н м с объ ятиями. Тогда про обяз нности ещё помнили и последних вопросов не з быв ли. И зн ли, что ещё не сироты н земле, пок он есть.

Сколько их ех ло, и с моуверенных, «возмущённых, что их гени льность не призн ётся в России», и молодых, вопрош ющих, з готовивших исповеди или р стерянных до отч яния. И все приеж ли доспросить об Учении, из

первых уст узн ть, что же им дел ть в их единственном случае и к к им быть с Богом.

Тем был тогда постоянн я. Русск я мысль говорил тогда о Боге до чрезмерности много. Уст ми Мережковского, Роз нов, Несмелов, Соловьёв, Шестов и Бердяев. И дерзостей дост в ло. А ничего. Церковь поругив л мыслителей, но не ожесточ л сь. Но он не говорил. Он дел л. И дел л в слове, которое, в отличие от учёных коллег, умело быть т ким простым, что дел лось ясно к ждому мужику. Он почву, землю з дел, н которой небо стоит. Он вернул християнство в первон ч льную пору, когда ещё не было ни церкви, ни пред ния, ни вековых институтов, которые сегодня решили всё до и з тебя. Он вст л перед Христом и пост вил перед ним семью и русского человек.

Никогда уже это не перестет болеть в русском сердце — к к принять Л.Н.Толстого в полноту русской культуры с его противостоянием церкви? К к мы ни притворяемся целыми, эт трещин не з жив ет. Что было в душе Льв Николевич здесь в Аст пове, в последние дни и ч сы, когда он зв л телегр ммой оптинского ст рц Иосиф, и что пережил, когда к нему не допустили приех вшего з немощью Иосиф другого оптинц — отц Врснофия? Д же, верно, и не узн л об этом приезде — не ск з ли. Может быть, т м готов был

р звяз ться узел, всю жизнь стягив ющий этот мятущийся дух? И может быть, отпустило бы, н - конец, всю жизнь точившее стр - д ние, т к горько выговорившееся в письме к ближ йшему другу Алекс ндре Андреевне Толстой ещё з 30 с лишним лет до рокового Аст пов : «...стр нно и уж с - но выговорить. Я не верю ничему, чему учит религия. И больше того, я не только нен вижу и прези р ю теизм, но я не вижу возможности жить и тем более умир ть без религии. И м ло-пом лу строю собственные веров ния, но хотя они крепкие, эти веров ния не являются ни определёнными, ни утешительными. Когд вопро ш ет мой ум, они отвеч ют пр - вильно, но когд сердце стр д ет и ищет ответ , тогд нет ни помощи, ни утешения».

Полож руку н сердце, к кой обр зов нный русский человек последнего времени, воспит нный в обя зательном теизме и оп мятов вшийся при восст новленной системе координ т, не пережил этого стр д ния, не допр - шив л себя о том же?

Это были вопросы не ч стно го человек , к к и с м Толстой не был ч стным человеком. Это было «поручение н ции», всегд н ходившейся с Богом в особенно тесных до дерзости отношениях.

В прошлом году русск я интеллигенция отмеч л столетие с мой шумной книги н ч л дв дц того век — философского

сборник «Вехи». Толстой чит л его, и это очень в жно для н с и, может быть, к к р з особенно для нынешней н шей мысли. И з пис л в дневнике: «Удивительный язык. Н до с мому бояться этого. Нерусские выдум нные слов , оз н ч ющие подр зумев емые новые оттенки мысли, неясные, искусственные, условные и ненужные. Могут быть нужны эти слов только когд речь идёт о ненужном».

Мир пошёл по пути «ненужного». Тр гедия был в том, что он не услыш л и «Вех», которые тоже поним ли неизбежность р зговор церкви и новой мысли н ступ ющего век и иск ли р зумного ди лог . Но всё уже неуклонно теряло р ссудок. И н род, grand mond, к к пис тель его с ув жительной улыбкой н зыв л, к которому они обр щ лись, понемногу исчез, сошёл н нет. Ск - жешь сегодня «н род» — и пров лишься в к кое-то общее место с тум нными гр ниц ми. Интеллигенция в ст ром либер льном поним нии, к жется, тоже ушл н всегд : в эмигр цию, в л геря, в неизбежность смерти. И сегодня мы уже можем проститься с этим словом, н м его носить не по чину.

Они стояли, может быть, н р зных полюс х в поним нии Бог и русской судьбы — Ильин, Т реев, Новосёлов, Терн вцев, отцы П вел Флоренский и Сергей Булг ков, но ещё, может быть, не предчувствуя изгн ния,

смертей, мученичеств, эмигранции, уже знали, что блгополучие не про них... Им предстояло, как Толстому, умереть в своём «Астапово» и тоже в каком-то смысле не дожидаться причастия, потому что церковь ещё не узнала в них своих лучших детей. И менее всего узнал того сын в нём, в Толстом, который, если воспользоваться требованием отца Сергия Булгакова к христиану согласить в себе «смирение и дерзновение», был тотчас с самым искренним христианом.

Кажется, он успел спросить обо всём. Он писал, загонял свою мысль в том же дневнике, которые вёл с пятидесяти лет, и одиннадцать тысяч мис писем, торопился сказать себя миру, дождавшись до конца: «Устройство внешних форм общественной жизни без внутреннего совершенствования — это всё равно, что переключить без известия и новый маршрут в ющееся здание из неотёсанных камней». (Так и хочется воскликнуть: «Ах, господь политики, организаторы внешних форм — читали ли Вы это?»).

«В книжках с любовью пишут, что там, где есть правота, там есть и обязанность. Какой это смелый вздор — ложь. У человека есть только обязанность». (Сегодня и слушать не хотят, борцы за правду человек договорить не могут).

И горькое, вечное, из года в год, как припев, как отрицание всего написанного: «Странно, что

мне приходится молчать с живущими вокруг меня людьми и говорить только с теми, далёкими по времени и месту, которые могут слушать меня». С нами, с нами говорить, да мы некогда слушать. И мы вместе с церковью готовы отделиться от испытующего разум, который не является человеком слишком много обязанностей.

А высокого разум ни в вере, ни в общественном деле стыдиться не надо. Только бы это был ум «тёплой крови», чтобы мысль от земли не отрывалась. А не «нерусские выдуманные слова», которые сегодня вот-вот вытеснят родной язык. И не стыдиться верить милосердию жизни. Он низвергнет, но он и вознесёт, потому что Бог — есть, и Он подлинно, как говорил один святой монах в тридцатые годы, «любит не всех одинаково, но к каждому — больше». Просто у нас сердечное зрение, возвращённое нам Толстым, иногда кривится. Оно норовит быть извращённым с самым действенным разумом, который действительно сосед гордости и дремлющим часом всё время «проверяет документы». Сегодня он и вовсе готов отделиться сердцу и чувству в самом превращённую жизнь, потому что они удерживают человека от окончательного потопа потребительской цивилизации.

Начувшись этому «различию умов», мы вместе с Львом Николаевичем однажды и не всегда дождаемся о самом простом:

что жизнь бесконечна, что он с каждым новым человеком открывется верить смерти. И как чудесно просто писателю не тревоживший Бог «по пустякам» и в этом лучший ученик Толстого И.А. Бунин, «всё пройдёт, не пройдёт только вера» в то, что смерти нет. И Толстой будет идти там, в этом непреходящем великом времени, рядом с Победоносцевым, Сергеем Сорокинским с Пушкиным, святые с грешными и большие с маленькими.

История — это мы все, не

одни великие. Это мы узнали от него. Мы все — условие Божественной полноты. Все — вехи Господнего пути, неотделимой вечности. Проигранных при страдании в сердце нет.

Какая жизнь — жизнь неотделимая! И Ей, как любящей матери, нужны мы все. Душевной боли это не снимет. Но Астасов может подождать.

Больше на этой станции поезд не останавливается, потому что Толстой уже не узнает смерти, пока живёт русское сердце.

Астасово. 20 ноября 2010 г.